**На Тихорецкую состав отправился...**

К началу войны мой дед по матери Сергеев Пётр Гаврилович, удачно пережив раскулачивание и расказачивание, умудрился даже сделать карьеру. Видимо, помогло то, что отец его, справный казак Гаврила, уже мирно скончался к тому времени, а братья, воевавшие за белых, погибли ещё в Гражданскую. Тот же единственный, Андрей Гаврилович, что воевал за красных, выбился в чекисты и даже занимал какую-то немаленькую должность в тогда уже Краснодаре и, что особенно удивительно, даже не был репрессирован в тридцатые годы, когда подчищали старую чекистскую гвардию. Братья не особо любили друг друга и общались мало, но деду это родство, похоже, всё-таки помогало. Несмотря на сомнительную биографию, он окончил какой-то там железнодорожный техникум в Ростове, вступил в партию и к началу сороковых был назначен начальником станции в родную станицу Терновская Тихорецкого района. А аккурат к июню 41-го был переведён на должность заместителя начальника станции Тихорецкая. Тогда это был крупнейший железнодорожный узел в предгорьях Кавказа. Именно здесь во время войны формировались и распределялись эшелоны, следующие в Крым и на Кавказ, на Новороссийск и Минводы, на Ростов и Сталинград. На Тихорецкой всегда было жарко – можно сказать, передовая.

А дед Петро всегда был горяч и крут. И даже в свои семьдесят не давал спуску. Помню, приехал я в Тихорецкую из самой Москвы к нему на семидесятилетний юбилей. Шумно отпраздновали, а поутру мирно сидим себе семьёй в беседке, немного выпиваем, песни играем. Наши казачьи. Дед мастер был, как затянет про чёрного ворона – аж мурашки по спине. И тут заваливается во двор ватага цыган. Много их тогда по Кубани шастало. Я встал из-за стола, по-хорошему их прошу за калитку выйти, мол, тут семья отдыхает, дети. А они ни в какую. Девки монистами звенят, что-то там заговаривают. Касатиком обзывают, ручку позолотить просят, а мужики, здоровенных два таких цыгана, смотрю – глазами по двору рыскают. То ли просить что пришли, то ли стащить чего. Я даже растерялся. И неловко, и напряжённо как-то. И пока я так рассусоливал, смотрю, дед мой из беседки выскакивает. Быстро так, резво. Секунду-две присмотрелся – и прямиком к главному. И прямо с шагу ему по физиономии, тот и ахнуть не успел, как на земле оказался, а дед уже ко второму несётся. Еле удержал.

Отчаянный был дед. Единственно, кого он боялся на этом свете, была его жена, моя бабка Мария Тихоновна, в девичестве Пьянова. В семье часто вспоминали, как они поженились. Дед, коренной кубанский казак, рос в зажиточной семье. Его отец Гаврила служил ещё в Японскую – сначала рядовым, а потом, по семейной легенде, и есаулом в каком-то элитном казачьем полку чуть ли не при самом императоре. Служба, однако, не помешала Гавриле настругать пятерых мальчишек, практически погодков. Вот только Петро запоздал лет на пять. Как самый поздний, последыш, был он и самым любимым и балованным. У казаков землю давали исключительно на детей мужского полу, а потому к революции в семье Сергеевых скопились большие наделы землицы – даже пришлось нанимать работников, чтобы её обрабатывать, что впоследствии ох как аукнулось. Хотя и сами «хозяева», как то было принято в казачьих станицах, не бездельничали, а «денно и нощно» пахали не хуже работников. Зато хлеба, молока, скотины и птицы разной было в семье вдоволь. Но тут пошли войны и революции. Пока его отец и старшие братья воевали с германцем, а потом и в Гражданскую, кто за Советы, а кто за царя, Петро рос как бурьян в поле. Любимым его занятием были кулачки, то есть драка на кулаках, в которой уже лет с пятнадцати ему не было равных. Слава о Петьке Железном Кулаке доходила аж до Сальских степей. Главные кулачки случались по весне на Масленице. Во многом именно благодаря деду Петру бои у станицы Терновской на льду местной речки Сверчок собирали бойцов и зрителей со всех окрестных станиц. Многие приходили на чудо-мальца поглазеть, а кто и сразиться с ним. Были случаи, когда деда даже нанимали драться за какую-нибудь станицу или на спор с кем. И вот однажды, деду к тому времени исполнилось уже 17 лет, выпало ему биться с парубком из известной тогда казачьей семьи Истоминых из станицы Кущевская. Что уж и как там было, давно быльём поросло. Сам дед никогда не рассказывал, бабка свою историю придумывала, мать моя позднее свою. Одно очевидно, что-то там неладное случилось, то ли дед мой в кулак свинцовую бляху вложил, то ли парубок тот из Кущевки неудачно оступился, может, камень какой вытаял, только упал пришлый боец на лёд после дедова удара в висок, да так и не поднялся. Ну, точь-в-точь как у Лермонтова в «Песне о купце Калашникове». Тем более что и бабка, и мать моя – все намекали на какую-то девицу, что якобы меж казаков молодых встала и вроде как деда моего за неё стыдили. Но не в том, конечно, дело было, а в том, что порешили тогда кущевские деда моего завалить. Угроза была серьёзной. У казаков даже и при советской власти, пока в тридцатые годы их вовсе не извели, были свои негласные и довольно суровые законы. За смерть казака без веской на то причины смертью и каралось. На семейном совете долго думали и рядили, как Петра спасать, и наконец придумали. Нужно срочно его женить! Дело в том, что опять же по негласному казачьему закону между парубком, то есть холостым парнем, и справным казаком, то есть мужчиной женатым, была непреодолимая межа вырыта. Молодые сами по себе кублятся – и кулачки там у них, и девки, и хороводы, а у взрослых свои заботы: семья, амуниция, казачий круг, если придётся – война... Только лошади да полевые работы их и связывали. А так ни-ни! Решили и сделали. В тот же день деда на заимку спровадили, а в станице объявили о помолвке Петра с какой-то там Марией из Тихорецка, хотя никакой Марии пока и не было. Но только пост Великий закончился да снег растаял, снарядили бедарку из двух коней, приодели Петра в цветастую рубаху да в новый тулуп и полетели в Тихорецкую на базар. Конечно, жениться Петру ох как не хотелось, да кто ж его теперь спрашивал. Налили стопку самогону, чуб взлохматили и повели казака меж рядов как молодого барашка. Выбирай, мол, Петро, какая приглянётся! Петро-то поначалу не особо приглядывался, смурной ходил, бычился, отнекивался: та толстая, та кривая, а та больно крикливая. А тут, уже почти что на самом выходе, вдруг вгляделся в одну молодуху и даже оторопел. Румяная, смешливая, полушубок каракулевый распахнут, под ним монисты аж в два ряда, сверху на плечах платок бежевый весь в розах да в павлинах, а в волосах, чёрных как смоль, гребешок жёлтый горит. Да и звать-то как раз Марией. А было той Марии пятнадцать лет, и была она родом из беднейшей семьи Пьяновых. У казаков случайных фамилий не бывало. А всё, что на ней было в тот день надето, насобирали по родственникам и на базар отправили, чтобы девку кто приметил, а там, может, и замуж позвал. Хотели быстрее спровадить, пока кровь с молоком. Да и ртов в доме меньше будет, а там, глядишь, вдруг и муж справный подвернётся, может, и поможет чем. В общем, рядить долго не пришлось – уже недели через две-три и свадьбу сыграли. Не прошло и двух месяцев после тех трагических кулачек, а Петро из парубка уже в справного казака Петра Гавриловича превратился, а это уже совсем другой коленкор. Прожили они с бабкой моей до самой смерти, восьмерых детей народили, двое в младенчестве померли, трое в детстве, а трое, в том числе и мать моя Ольга Петровна, и войну пережили, и в свою очередь детей нарожали. А потом, как и положено один за другим, правда, не совсем в очередь, направили свои паруса, по выражению одного поэта, «во окиян небесный».

Станцию Тихорецкую с первых дней войны немцы бомбили жестоко – стратегический объект. Доставалось и тем, кто на станции работал, и семьям путейцев, которые, как правило, жили с объектом рядышком в ведомственных бараках, как и бабка моя с дедом, с детьми да с родственниками. Но о войне дед не любил говорить, как, собственно, и большинство реально воевавших на фронтах или видевших войну воочию, своими, уже взрослыми глазами. Помню, кажется, в году 77-м на 7-м Всесоюзном совещании молодых писателей мы, несколько начинающих тогда литераторов, выпивали в ресторане гостиницы «Юность» с одним из самых совестливых русских писателей Виктором Петровичем Астафьевым. Он сам нас пригласил и сам угощал. Раньше такое было возможно. Так вот, зная, что он всю войну прошёл рядовым, мы все приставали к нему с вопросами о героизме русского солдата, о силе духа, удивлялись, что он к тому времени так ничего и не написал о войне, хотя казалось, ну кто ещё имеет на это право! «Мерзость эта ваша война, – удивлял нас Виктор Петрович, – боюсь, если о ней всю правду начну рассказывать без прикрас – сердце разорвётся». Думаю, и дед мой так же думал, и когда я особенно приставал, бралась рассказывать баба Маня – так мы её в старости называли. Правда, дед, как правило, усаживался рядом и внимательно слушал, иногда недовольно покряхтывал и даже вмешивался, когда: «Ну, ты что сочиняешь, старая, вовсе не автомат у меня был тогда, а пистолет, служебное оружие. И не стрелял я в воздух, а просто направил на него пистолет и положил на брюхо, а потом приказал следовать за мной. Для порядку, конечно, врезал разочек». – «Тоже мне, герой! Врезал! Приказал следовать! Но он-то от тебя вывернулся и тебя же ножом полоснул, а ты его тогда автоматом и огрел, – не сдавалась бабка, – сам рассказывал». – «Ну ты и сказочница странная, буду я цельным автоматом размахивать перед каким-то там сопляком, – чуть ли не обижался дед. – Я всего-то раз кулаком к нему и приложился – так до самой НКВД он очухаться не мог». Это они так историю вспоминали, когда дед шпиона поймал прямо на путях. Тот обходчиком прикинулся, убил стрелочника и попытался стрелку перевести, чтоб состав с танками, следовавший в Сталинград, с составом с горючкой столкнуть. Деду за тот эпизод даже медаль какую-то вручили, но он редко, очень редко доставал её из комода. Я как-то спросил его: «А ты что стесняешься, дед, ведь тогда реально ты десятки танков спас, а это какая силища!» – «Да случАй это, – в кои-то веки разговорился дед, – а никакой не подвиг, я ведь после смены к стрелочнику тому за самогонкой шёл, баба его отменный варила, а тут... Вообще на войне, унучек, мало порядку было, всё больше случАи. Вот буквально через неделю после того шпиона, я на смене был, составы один за другим прут. И все какие-то начальники при звёздах, при погонах в кабинет ко мне врываются, пистолетами об стол стучат: «Отправляй состав! – орут. – Там фронт задыхается!» А я что, им новую рельсу проложу? У меня и так всё минута в минуту, того и гляди один эшелон на другой наскочит. И тут влетает ко мне капитан НКВД, форма с иголочки, молодой, здоровый, и прямо в лоб мне пистолет тычет: «Расстреляю! – кричит. – По законам военного времени! У меня на платформах двадцать истребителей уже два часа на запаске простаивают, а ты тут прохлаждаешься, сволочь ты фашистская, а не начальник, шпион немецкий!» Ну, тут меня, естественно, слова его эти обидели. Я руку его с пистолетом вывернул да в зуботычину. Правду сказать, он тоже парень крепкий оказался. Сцепились мы с ним, как в юности на кулачках, – только кровища из сопаток хлестала. В общем, повязали меня и в местное отделение НКВД заперли до выяснения. А на место моё сменщика вызвали, соседа моего Ивана Кравчука. Таки заставил его капитан вне очереди состав тот треклятый с самолётами отправить. И, видимо, второпях направили его не на тот путь, какой надо, а на самый что ни на есть дальний, тот, что под мост уходит, путём этим мы пользовались только в самых крайних случаях, когда от бомбёжек эшелоны с бойцами уводили. И конечно, второпях никто не удосужился о габаритах подумать, у самолётов-то крылья, как ты их ни мости, вон аж насколько выпирают. Все двадцать и побило об опору моста. Тут такое началось – это ж чуть ли не цельный полк истребительный! Расстреляли прямо на месте и того капитана, и Ваньку Кравчука, и стрелочников каких-то. А начальника станции арестовали, увезли куда-то в центр, больше мы его и не видели. А я опять чуть ли не в героях оказался и уже через пару дней сам исполнял обязанности начальника станции. А ты говоришь, подвиг! СлучАй.

А бабка действительно рассказы свои чуть приукрашивала, да и вспоминала она всё больше о детях да о курах с петухами. Как-то ощипывает курицу для супа и рассуждает так спокойно: «Таких умных кур, – говорит, – как во время войны, я больше не встречала. Ещё даже тревогу не объявят, ещё никакого тебе гулу, не то что свисту от бомб, а они уже сбиваются гуртом, затихают и не в сарай тебе бегут, а в самый что ни на есть дальний угол двора, где построек нет и где бог знает с каких времён тот валун огромный лежит, ну ты знаешь, сам рассказывал, что его вроде как тыщи лет назад ещё ледник сюда притащил. Так они под ним яму вырыли и там бомбёжку пережидали. А знаешь, что самое страшное было? Даже не сама бомбёжка, а сразу после. Когда бомбы сыплются, воют невообразимо, грохот стоит, вопли вокруг – одно желание – зарыться в землю, никакого другого чувства, кроме ужаса. А ужас – ведь он не страшный, потому как бездумный. И вдруг тишина, и страх накатывает, буквально животный – от неизвестности. А куда бомба-то попала? Кого в этот раз убила? Маму, Петра, Павлика? Павлик, сын дедов, младшенький, дядька мой, лет семь ему тогда было, когда немцы пришли. Весь в деда: и подраться, и похулиганить. Как-то раз, чуть ли не в первый день, когда немцы в Тихорецкой появились, учудил наш Павлик. На улицах никого – все местные по дворам прячутся, только немцы на мотоциклах кружат, автоматами бряцают. Не успела бабка оглянуться, а Павлика уже нет во дворе. Туда-сюда, выскакивает за калитку, и на тебе картинка. Прямо от вокзала, через сквер привокзальный, идут себе обнявшись два сорванца – Павлик и Витька Кравчук, сын того самого Ваньки, расстрелянного за самолёты. Идут и поют. И что поют проклятые: «Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин и Ворошилов в бой нас поведёт!» А вокруг немцы – ухмыляются, прислушиваются, автоматы на них наводят, вроде как в шутку. Я сама не своя, – рассказывает бабка, – бросилась, схватила их двоих, потащила во двор, споткнулась, упала, снова схватила. А немцы вслед гогочут, только и слышу: «Пиф! Паф!»

Обычно о бомбёжках бабка с юморком рассказывала. Даже о том, как бомба прямиком в дом попала. Детей в тот раз она, к счастью, в погреб запихнуть успела. А свекровь её, бабушка Даша, что-то в комнате замешкалась. «Жадная была, – чуть ли не на ухо шептала мне баба Маня, посверкивая глазами в сторону деда, – только сирена загудит, она прежде в комод шасть – и узелочек с побрякушками себе под кофту, а там, в узелочке том, было что прятать: и кольцы, и монисты ещё с царских времён – и только тогда в погреб спускается. А тут найти сразу не могла, что ли, забегаю за ней, а она по ящикам комода шарит. И ко мне прямиком: «Манька, не ты ль, что ли, кольцы мои спрятала?» Договорить не успела – тут как шарахнет! Мы на пол и ползком под кровати: я под нашу с дедом двуспальную с набалдашниками такими красивыми, сверкающими, а свекровь – под Павликову, детскую. Голову-то засунула, а задница наружу торчит. А бомбы одна за другой ухают. Чуть затихнет, слышу, свекровь моя причитает: «Прости мне, Господи, жадность мою, да будьте вы прокляты и все монисты мои, и кольцы, жива останусь – ей-богу выкину иль Маньке отдам!» Таки не отдала. А тут как грохнет. Очухались, смотрю – наверху небо голубое, стена с фотографиями отцов и братьев на земле лежит, я ничё не слышу, не понимаю, а бабка Дашка и вовсе в луже с кровью барахтается. Слава богу, жива осталась, но вот ягодицу одну как бритвой осколком срезало. Позже уже Петро всё подначивал: «Ну, мать, ты вроде как шпионка у нас, немцы-то на зад твой слетались».

Но об одной бомбёжке если кто вспоминал, то обязательно со слезами. «Разгрузили как-то ещё в первые месяцы войны на станции эшелоны матросиков. Кто, как, зачем уже никогда никто не узнает и не спросит. Может, полтыщи их было, а может, и цельная тыща. Молодые, красивые, в форме с иголочки, в бескозырках с гордой надписью «Черноморский флот». Видно, только призвались и только на свой первый бой направляются. Расположили их в сквере, что между станцией и жилыми бараками. Солнце светит, на небе ни облачка, и сквер тот ну как на ладони – ни убежища, ни прикрытия. Не успели ещё и девки соседние сбежаться, как откуда ни возьмись налетели самолёты. Не один, не два, а цельных два десятка, может, и более. И прямиком, будто кто подсказывает, с подлёта один за другим на сквер этот спикировали. Ни тебе воздушной тревоги, ни обстрелянных отцов-командиров. Местные тоже ещё непуганые были. Мы с твоей матерью, одиннадцать ей тогда было, как раз у калитки стояли, на матросиков любовались. Успели увидеть, как с самолётиков тех прямо ровненькими такими рядами посыпались на мальчишек бомбочки, точно игрушки какие. И только когда игрушки те страшно завыли, заревели и земля застонала под ними, мы в погреб юркнули. А матросикам куда? Не приведи Господи никому это видеть и никому пережить, – обтирая слёзы уголком платка, причитала баба Маня, – только бомбёжка кончилась, я, дура, Павлика в охапку и на станцию – как там Петро! А Петро навстречу мне со станции несётся. В сквере и столкнулись и головы подняли. Лучше б и не поднимали вовсе. Господи, отец наш пресвятый, за что ж ты их так! Будто звук включился: крики, стоны, хрипы какие-то, головы, руки, ноги, обрубки людские на деревьях висят, в кустах валяются. Видимо, так в аду будет за всё наше людское бесчинство».

Летом 42-го немцев в Тихорецкой всё-таки не ждали, думали, отобьются наши. Дед Петро и ещё несколько станционных начальников, партийцев, ни семьи свои вывезти не успели, ни сами не успели эвакуироваться. Только когда мотоциклетки немецкие на привокзальной площади затарахтели, выскочили мужики из вокзала на перрон и по рельсам до самой Кавказской потопали. Всего на пару минут заскочил мой дед домой, только и успел, что детей обнять да бабке наказать, чтобы в станицу Терновскую к родственникам как можно быстрее отправлялись и там затаились, иначе убьют их здесь немцы как членов семьи коммуниста. И, надо сказать, не случайно дед беспокоился. Когда в 43-м наши вернулись, действительно в бывшей немецкой канцелярии обнаружили списки тех, кто подлежал уничтожению. Все Сергеевы там как на подбор выстроились. Несколько лет я по крупицам из деда вытаскивал его одиссею о том, как пятеро казаков со станции Тихорецкая всего-то с двумя табельными пистолетами и четырьмя обоймами с патронами в течение нескольких месяцев пробивались по захваченной немцами Кубани, потом уходили через Главный Кавказский хребет сначала в Адыгею, потом в Кабарду и, наконец, в Грузию. Но это уже другая история.

**//Писатель Юрий Головин, статья в Литературной газете №21 от 16.06.2021 г.**